

ПСИХОЛОГИЯ,

ЛИНГВИСТИКА

**И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
СВЯЗИ**

*К 70-летию
со дня рождения
А.А. Леонтьева*



Коллектив авторов

Психология, лингвистика и междисциплинарные связи

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12005563

*Психология, лингвистика и междисциплинарные связи. Сборник научных работ к 70-летию со дня рождения Алексея Алексеевича Леонтьева: МОСКВА; 2008
ISBN 978-5-89357-264-3*

Аннотация

Очередной сборник научных работ преподавателей, сотрудников и аспирантов кафедры общей психологии факультета психологии МГУ. Издание сборника приурочено к сорокалетию факультета психологии. В него входят статьи как ведущих ученых, так и молодых исследователей, охватывающие самый широкий круг проблем общепсихологического знания и преподавания общей психологии, а также ранее не публиковавшиеся материалы из архива О.К. Тихомирова и В.В. Петухова.

Адресуется психологам.

Содержание

| | |
|---|----|
| ЛИНГВИСТИКА | 4 |
| В ЗАЩИТУ «ПСИХОЛОГИЗМА» В ЯЗЫКОЗНАНИИ | 4 |
| ТЕТРАГОН И ЕГО ГРАНИ: ТЕКСТ, КОНТЕКСТ, ПОДТЕКСТ И ЗАТЕКСТ | 34 |
| КОММУНИКАЦИЯ, СИТУАЦИЯ, СОБЫТИЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПОВЕСТВОВАНИЯ | 49 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 60 |

Психология, лингвистика и междисциплинарные связи

ЛИНГВИСТИКА

В ЗАЩИТУ «ПСИХОЛОГИЗМА» В ЯЗЫКОЗНАНИИ

В.М. Павлов

Обращение к истории развития науки о языке – необходимая предпосылка осмысления ее современного состояния, ее направлений и школ с их целеустановками, теориями и методами исследования. От лингвистического образования нельзя отделить Гумбольдта, Штейнталя, Потебню, Пауля, Бодуэна, Соссюра, Балли, Щербу, Шахматова, Есперсена, Мартине, Косериу, Виноградова, Кацнельсона, Адмони, Ярцеву, Серебренникова, Леонтьева и многих-многих других. Дискуссии, которые велись и пятьдесят, и сорок, и тридцать лет тому назад, теперь уже история, но это не значит, что сегодня они утратили актуальность. Существуют вопросы принципиального характера, которые можно называть «вечными», по которым мнения расходятся, часто до противоположности,

на протяжении десятилетий, если не столетий, а каждому серьезному исследователю приходится принимать то или иное решение.

К таковым относится вопрос о взаимоотношениях языкознания и психологии. Это вопрос в известном смысле производный, вторичный, так как он решается на основе определенных представлений о так называемой онтологии языка. На этом мы остановимся позднее. Сначала же обратим внимание на широко представленную у отечественных лингвистов во второй половине прошлого столетия критическую оценку «психологизма» в языкознании, причем речь может идти в данной связи о лингвистах, завоевавших своими трудами весьма высокий научный авторитет. «Психологизм» постоянно ассоциируется в первую очередь с младограмматическим направлением, господствовавшим в языкознании начиная с 70-х гг. XIX в. на протяжении более полувека.

Критическая позиция по отношению к младограмматической концепции языка и языкознания, включая присущий ей «психологизм», ярко представлена, например, в некоторых работах С.Д.Кацнельсона. Во вступительной статье к изданию книги Г.Пауля «Принципы истории языка» в переводе на русский язык (Пауль, 1960), в которой обстоятельно излагается теория и методология младограмматической школы, С.Д. Кацнельсон относит психологизм вместе с позитивизмом, субъективизмом, идеализмом к «порокам» младограмматического направления. Что же касается принципи-

ального историзма в подходе младограмматиков к изучению языка, то, по С.Д. Кацнельсону, с одной стороны, это одна из наиболее привлекательных позиций их концепции, с другой же стороны, их историзм носит ограниченный характер и фактически оборачивается антиисторизмом, так как «это историзм без учета созидательной роли общественно-исторического фактора» (Кацнельсон, 1960, с.16), а стало быть, и действительного языкового развития с его социальной обусловленностью. К этому добавляется свойственный позитивизму эмпиризм и, как его следствие, распадение картины конкретного языка на бессистемное скопление великого множества деталей, что принято обобщать, говоря именно о трудах младограмматиков, под знаком «атомизма».

С.Д. Кацнельсон утверждает особую приверженность «позитивистской теории языка» к психологизму, не останавливаясь на обосновании этой приверженности. Можно предполагать, что за этим стоит характерная для второй половины XIX в. общая атмосфера преимущественно естественнонаучного подхода ко всякой научной проблематике, психология же и открывала перспективу применения эксперимента в языкознании, и начинала усиленно «объективировать» себя благодаря открытию связей психических процессов с их физиологическим субстратом, с функциями мозга. Но особенно резкой критики удостоивается положение, которое Пауль формулирует следующим образом: «Мы должны признать, собственно говоря, что на свете столько же от-

дельных языков, сколько индивидов» (Пауль, 1960, с.58). По мнению С.Д.Кацнельсона, тем самым – в этом «кульминационном пункте психологической трактовки языка» (Кацнельсон, 1960, с.15) – Пауль отрицает социальную природу языка со всеми вытекающими из этого последствиями. Психологизм Пауля и младограмматиков вообще наделяется конкретизирующим атрибутом в виде «индивидуального психологизма». С.Д. Кацнельсон отстаивает позицию, в соответствии с которой языкознание «интересуется не психическими процессами речи, а их «результативными» образованиями, элементами языкового строя, рассматриваемыми не в индивидуально-психологическом, а в общественно-историческом плане»; психические процессы к тому же представляют собой для языковеда нечто «не подлежащее его компетенции» (там же). В предисловии к своей книге «Типология языка и речевое мышление» С.Д. Кацнельсон пишет: «Долгие годы засилья логицизма и психологизма в грамматике и антименталистические настроения новейших течений помешали развитию собственно лингвистических методов содержательного анализа языка» (Кацнельсон, 1972,с.4).

Приведенная здесь – и подобная ей – критика ориентации языкознания на человеческую психику может быть в свою очередь подвергнута критике. С.Д. Кацнельсон не возражает против того, что речь представляет собой психический процесс. Признается, далее, что элементы языкового строя «результативно» связаны с речью (обратная связь, следователь-

но, генетическая «результативная» взаимозависимость языка и речи, не упомянута, по-видимому, просто чтобы в соответствующем месте не усложнять изложение). Недоумение вызывает то обстоятельство, что автор, несомненно убежденный приверженец диалектического метода научного познания, в конкретном случае словно бы забывает о том, что в соответствии с этим методом познание развития, становления вещи представляет собой необходимую предпосылку познания ее сущности. Что касается высказывания Пауля об «отдельных языках» (отдельных же) индивидов, то, в особенности учитывая его непосредственный контекст, его следует интерпретировать не в смысле отрицания социальности языка, а так, что конкретный язык, его общий состав, в буквальном смысле слова не-равно-мерно распределен по носителям этого языка (и ни у одного из них не представлен полностью). За этим вполне очевидно стоит представление о том, что конкретный язык некоторой общности людей и существует только в виде индивидуальных языков, так сказать, при их посредстве. Язык «локализуется» и в индивиду, и вне его, следовательно, по отношению к индивиду как в субъективном, так и в объективном качестве, но в последнем не иначе как в других индивидах, а до внеиндивидуального, т.е. внечеловеческого, существования языка, кажется, никто еще не додумался, что можно только приветствовать. Говоря же о формировании всякого индивидуального языка, Пауль подчеркивает: «Общение – вот решительно то, что порождает».

ет язык индивида» (Пауль, 1960, с.60).

Критикуя «индивидуальный психологизм» в концепции Пауля, С.Д. Кацнельсон указывает еще на два существенных момента. Во-первых, у Пауля имеет место «злоупотребление понятием ассоциации». Это означает, что «психологизм растворяет все конкретные типы отношений, представленные в системе языка, в одном универсальном типе связи» (Кацнельсон, 1960, с.15). Во-вторых, Пауль ищет источник языковых изменений, их исходную точку, в индивидуальных отклонениях от узуса (которые через широкое распространение при посредстве все того же общения способны постепенно видоизменять сам узус). Не вступая здесь в развернутую полемику по поводу этих положений, отметим лишь, что, например, Б.А. Серебренников в главе «К проблеме сущности языка» книги «Общее языкознание» (Серебренников, 1970) оба затронутых выше вопроса трактует в сущности так же, как Пауль (в этой главе можно и вообще найти весьма многочисленные проявления «психологизма»). «Ассоциация» – понятие психологическое. Но что можно возразить против того, что, с одной стороны, разнообразные связи языковых явлений друг с другом реализуются именно в психике (вместе с ее физиологическим «базисом»), и, с другой стороны, против подведения разнообразия этих связей под одно общее понятие, применение которого беспрепятственно совместимо с выявлением своеобразия каждой из них, с их дифференциацией?

Ущерб, который обращение к психологическим понятиям и представлениям наносит языкознанию, во вступительной статье С.Д. Кацнельсона к книге Г. Пауля не показан. Но приходится отметить и нечто вообще не совсем понятное. Существуют работы С.Д. Кацнельсона, о которых можно сказать, что они насквозь пронизаны принципиально отвергаемым им «психологизмом». Одна из книг С.Д. Кацнельсона, посвященная фундаментальным вопросам общей теории языка и блестящая по глубине и оригинальности мысли, носит заглавие «Типология языка и речевое мышление» (Кацнельсон, 1972). Постановка вопроса о различении универсального и идиоэтнического компонентов в языковых явлениях (в самом широком смысле слова) по своей неумолимой внутренней логике влечет за собой обращение исследовательской мысли к проблематике порождения речи, высказывания – в процессуальном значении этого термина, – к языковому сознанию, к речемыслительной деятельности. Отсюда и совершенно обоснованная «связка» терминов в заглавии книги. Отсюда и многочисленные упоминания в тексте книги о процессах, происходящих «в уме» говорящего и слушающего¹, о том, что языковое значение есть некоторое знание явлений действительности, о том, что сознание (с нашей точки зрения точнее: сознавание) неразрывно связа-

¹ Ср. также (со ссылкой на Л.В. Щербу): «Процесс порождения предложения <...> является реальным процессом, как он протекает в голове говорящего» (Кацнельсон, 1986, с. 150).

но с речью (произносимой или внутренней). И т.п. Очевидное «двоение» позиции С.Д. Кацнельсона – и далеко не только его – по отношению к кооперации языкознания и психологии находит наиболее вероятное объяснение в определенных «внешних условиях»: было время, когда нашему ученому буквально вменялось в обязанность разоблачать «реакционную буржуазную науку», и это приводило к тому, что признания прогресса зарубежной науки в тех или иных отношениях (они присутствуют в оценке младограмматического направления, излагаемой С.Д. Кацнельсоном) по возможности заслонялись критикой, которую в данном случае увенчивает клеймо «метафизической философии языка» (Кацнельсон, 1960, с.18).

Иное отношение к взаимосвязи психологии и языкознания может иллюстрировать пример В.Г. Адмони, одного из ведущих методологов прежде всего в сфере грамматических исследований. Показательна в этом плане его статья о понятии обобщенного грамматического значения (Адмони, 1975). В.Г. Адмони пишет: «Выступая как внеоперационная система, грамматический строй перебрасывает мост через стихию психоречевой деятельности и непосредственно образуется двумя конкретно представленными в социальной действительности, объективирующимися сторонами: формальной и смысловой»; обе эти «вершины» «выявляют тесную связь друг с другом, обособившуюся от конкретных условий психофизиологического формирования речи» (там же,

с.42). Короче, по общему смыслу цитированных высказываний обращение к «психофизиологическому формированию речи» для лингвиста в принципе излишне. Мало того, оно чревато опасностью отклониться от таких «связок» формы и содержания, которые «прочно и объективно» закреплены в языке, в его социальной ипостаси, к проявлениям «специфической настроенности говорящего или слушающего», «случайной ассоциативной связи» и т.п. (Адмони, 1961, с.43). О младограмматическом «антиисторическом психологизме» В.Г. Адмони также говорит (Адмони, 1949, с.34). Вместе с тем он открыто признает и зависимость лингвистического анализа от «подспудного психофизиологического механизма» (Адмони, 1975, с.42). Логика достаточно очевидна: если грамматика «не может быть сведена» к «актам речемыслительной деятельности», то она – как и все языковое вообще – не только обнаруживает себя в речевых актах, но и существует «внеоперационально», а ее способ «внеоперационального» существования есть существование в *памяти*. Другого способа не дано. Кроме этого, и определенные собственно аналитические процедуры носят психологический характер. К ним можно отнести существенное для синтаксиса выявление минимальных структурных моделей разных типов предложений посредством испытания составных частей предложения методом их «опущения», «вычеркивания», т.е. посредством психологического эксперимента. В.Г. Адмони упоминает и важный с точки зрения типологии синтаксиче-

ских структур (и их исторического развития) признак их напряженности/ненапряженности, который также относится к сфере психических феноменов (*Адмони*, 1975, с.41 – 42; ср.: *Адмони*, 1960).

Приведенные примеры суждений и рассуждений лингвистов о взаимоотношениях языкознания и психологии, в общем и целом достаточно типичные, свидетельствуют о своеобразном раздвоении лингвистического самосознания. С одной стороны, отстаивается представление о суверенной лингвистике, предмет которой имманентно свободен от посягательств других наук. С другой стороны, как только лингвист начинает заниматься своим конкретным делом, он тут же наталкивается на необходимость оперировать понятиями памяти, связей, которые неотличимы от того, что психолог называет ассоциациями, понятиями сознания, мышления, речи, – и многими другими составляющими психологического понятийного арсенала. И хотя за подтверждениями этой неутешительной ситуации мы обратились к воззрениям, представленным в работах, отстоящих от сегодняшнего дня на довольно значительном временном расстоянии, вряд ли можно сказать, что она уже благополучно разрешена.

Теоретик, организатор и лидер психолингвистики в нашей стране А.А. Леонтьев с самого начала своей деятельности взял курс на разграничение сфер компетенции психолингвистики и собственно лингвистики – не по объекту, которым является языкоречевая действительность в целом,

а по выделяемым в этом объекте предметам научного исследования, по «аспектам» соответствующего объекта, если следовать предложенному Л.В. Щербой способу выражения (Щерба, 1974). Представляет безусловный интерес то, как взгляды А.А. Леонтьева соотносятся с теоретическими воззрениями И.А. Бодуэна де Куртенэ и Л.В. Щербы, которые с полным на то основанием считаются в отечественной науке предшественниками лингвистики под психологическим углом зрения. В одной из своих работ А.А. Леонтьев следующим образом выделяет в научном наследии Бодуэна одно из важных положений, сохраняющих актуальность для современных дискуссий: «Бодуэн, верный своему основному тезису о том, что «существуют не какие-то витающие в воздухе языки, а только люди, одаренные языковым мышлением» (Бодуэн, 1963, с.181), только тогда считал возможным говорить о существовании тех или иных внутриязыковых закономерностей, когда представлял себе их психофизиологический механизм, и только тогда выдвигал то или иное понятие, когда мог определить его, хотя бы в самых общих чертах, с помощью материального психофизиологического субстрата» (Леонтьев, 1969а, с.178). Сам «язык» Бодуэн определял как «орудие и деятельность» (Бодуэн, 1963, с.181). Даны две потенциальные возможности интерпретации такой формулы. Одна из них состоит в том, что «орудие» в онтологическом видении «деятельности» целиком содержится в соответствующих процессах и может быть осознано и выделе-

но в них и из них в качестве их постоянных, повторяющихся, опорных компонентов и стереотипов комбинирования последних, в этом и только в этом смысле представляющих собой средство осуществления данных процессов. «Орудие» и осуществляет себя, таким образом, в процессе своего применения. Более чем спорное допущение, однако чем, как не этим допущением, можно объяснить, например, тезис А.С. Чикобавы о том, что «язык *и есть* то общее, что обнаруживается в речевой деятельности индивидуумов, входящих в соответствующий языковой коллектив», из чего делается вывод, что «противопоставлять «язык» и «речь», таким образом, невозможно». Ср. также утверждение А.И. Смирницкого о том, что «язык действительно и полностью существует в речи» и что это «подлинное существование языка» (Чикобавы, 1959, с.118 – 119; курсив мой. — В.П.; Смирницкий, 1954, с.29 – 30)².

Другая интерпретация формулы о «языке» как «орудии и деятельности» состоит в том, что в ней различены «орудие» как психофизиологический механизм и «деятельность» как процесс, осуществляемый этим механизмом (а в силу генетической и постоянной функциональной взаимообусловлен-

² Оба автора высказываются в тех же работах и таким образом, что из соответствующих высказываний вытекает представление о языке как средстве построения речи, существующем и вне речевого процесса, но это приходится относить уже на счет противоречий теории, которые требуют отдельного обстоятельного анализа. Здесь уместно упомянуть и утверждение о «языке, реально существующем только в процессе коммуникации» (Колишанский, 1975, с.51).

ности этих явлений они вкуче образуют предмет психосоциальной, по Бодуэну, науки – языкознания). Тексты Бодуэна дают полное основание понимать его именно таким образом. Толкование же позиции Бодуэна, которое мы находим у А.А. Леонтьева, на наш взгляд, дает повод для дискуссии, и обсуждение нашего расхождения, хотя бы краткое, может представлять известный интерес в плане прояснения противоположаемых подходов. А.А. Леонтьев пишет: у Бодуэна «язык как абстракция противопоставляется языку как реальному, непрерывно повторяющемуся языковому процессу» (Леонтьев, 1969а, с.183). Всякому объекту может противостоять знание о нем (его «абстракция»). Имманентно несовпадение (неполное совпадение) знания с объектом. Бодуэн выступал против смешения «абстракции» языка с языком как таковым, и в указании на такое противопоставление А.А. Леонтьев безусловно прав. Но язык, язык именно «как таковой» здесь же представлен как «языковой процесс», в соответствующем *качестве*. Из «орудия и деятельности» «орудие» как нечто существующее до и вне деятельности («внеоперационально», по В.Г. Адмони) куда-то исчезло.

Бодуэн не прибегал в явной форме к подразделению «языка» на «аспекты». Это сделал его ученик Л.В. Щерба, и в своих работах 60 – 70-х гг. А.А. Леонтьев соотносит свое членение языковых явлений с «аспектами», разработанными Л.В. Щербой. Последний различает «речевую деятель-

ность» (вместе с обеспечивающей ее психофизиологической «речевой организацией человека», она же – «речевой механизм»), «языковую систему» (словарь и грамматику; говоря о «языковой системе», Л.В. Щерба особо подчеркивает ее «социальную ценность») и «языковой материал» – как «совокупность всего говоримого и понимаемого³ <...> в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы» (Щерба, 1974, с.25 – 27). Триада А.А. Леонтьева выражена в терминах «языковая способность» (соответствует индивидуальной «речевой организации» Л.В. Щербы), «языковой процесс» («речевая деятельность» Л.В.Щербы) и «языковой стандарт», который ставится в соответствие «языковой системе» (Леонтьев, 1965, с.53 – 56). Неясно, какой из этих трех аспектов включает в себя «языковой материал» Л.В.Щербы (скорее всего, это «языковой процесс»), но здесь данный вопрос можно оставить в стороне.

Независимо от того, рефлектирует или не рефлектирует лингвист на то, что он погружается в ходе своей работы во всю «тройную структурность» целокупной «речевой деятельности» (там же, с.56), его конечная цель есть адекватное описание языка как социальной данности, и из обрисованных «аспектов» это выдвигает для него на передний план «языковую систему» Л.В. Щербы и, соответственно, «языко-

³ Заслуживает внимания, что у Л.В. Щербы речь идет о «говоримом и понимаемом», а не о «сказанном и понятом», т.е. не о «текстах» («на языке лингвистов»), которые здесь же характеризуются – вне процессов говорения и понимания – как нечто «мертвое».

вой стандарт» А.А. Леонтьева. Напомним сначала проводимое Бодуэном (приведенное выше в изложении А.А. Леонтьева) противоположение «языка» как «реальности» и как «абстракции». У Л.В. Щербы можно отметить некоторое колебание между двумя трактовками термина «языковая система». В одном месте статьи «О трояком аспекте...» говорится, что «на основе актов говорения и понимания» путем «умозаключений» создаются грамматики и словари, которые «мы будем называть “языковыми системами”»; непосредственно же после этого читаем: «Правильно составленные словарь и грамматика должны исчерпывать *знание* данного языка» (Щерба, 1974, с.25; курсив мой. – В.П.). О смещении здесь знания и его объекта не приходится говорить, так что отнесение термина «языковая система» к содержанию лингвистических книг можно, пожалуй, считать случайной оговоркой. В этом укрепляет сравнение с другим положением в статье Л.В. Щербы, где он решительно отвергает представление о грамматике и словаре как «лишь ученой абстракции» (*там же*, с.27).

А.А. Леонтьев подчеркивает социальный статус «языкового стандарта» и утверждает его объективность как в его (относительно)статическом состоянии, так и в его исторических изменениях. Здесь же отмечается, что «языковая система» (она же – «языковой стандарт») может трактоваться двояко – и как объективная система языка, и как «форма интерпретации лингвистом языковых фактов» (Леонтьев,

1965, с.56). Против этого не приходится возражать. Возражения возникают в связи с тенденцией к такому размежеванию лингвистики и психолингвистики, при котором вырисовываются две – в пределах возможного – не пересекающиеся сферы научных изысканий. Дело лингвиста – изучение и описание «языкового стандарта» («языковой системы»). Психолингвистика же занимается всем остальным в «речевой деятельности», т.е. «речевой деятельностью» (этот термин указывает на подвергаемое аспектизации целое) за вычетом «языкового стандарта»⁴. В одной из своих ипостасей «языковой стандарт» представляет собой «исторически развивающуюся объективную систему языка, актуализируемую во множестве конкретных говорений», он также «есть определенным образом упорядоченная совокупность константных элементов языковой деятельности» (*там же*, с.44, 56). «Совокупность константных элементов» может оказываться «упорядоченной» в результате саморегулирования системы, но можно придавать «упорядочению» и смысл деятельности, осуществляемой по отношению к системе извне, в порядке ее познания, в ее модели (или моделях). У А.А. Леонтьева понятие «языкового стандарта» явно выполняет модельную функцию. Ср.: «язык не существует как что-то отдельное вне речевой деятельности» (*Леонтьев*, 1970, с.327; «язык» как

⁴ С этим распределением терминов плохо стыкуется дефиниция психолингвистики как общей «теории речевой деятельности», но терминологические вопросы – сфера условностей, и в нее не стоит здесь углубляться.

явление социальное здесь безусловно совпадает с «языковым стандартом»). Где и как «язык» существует независимо от моделирующих его лингвистов, не проясняется. Психолингвистику и «не занимают проблемы, связанные с языком как объективной системой» (*там же*).

Образ «языковой системы» как модели, в которой лингвист «упорядочивает» «константные элементы речевой деятельности», представляемой в данном случае в аспекте «конкретных говорений» и непосредственно – в виде текстов, подкрепляется положением о том, что текст, с которым имеет дело лингвист, сам представляет собой модель реального речевого процесса, так что лингвист разрабатывает, так сказать, модель второй ступени абстракции (*Леонтьев, 1965, с.56*). В том же направлении идет различение рядов психолингвистических и лингвистических единиц, на котором мы не будем подробно останавливаться, отметив лишь, что психолингвистическому ряду – слогу, слову, предложению – придается как объектный статус (они потенциально или актуально осознаваемы и представляют собой поэтому психологическую реальность), так и статус моделей, а относительно лингвистического ряда – фонемы, морфемы, лексемы – всемерно подчеркивается модельная функция соответствующих понятий (*там же, с.72, 123, 191*).

В сущности А.А. Леонтьев солидарен с С.Д. Кацнельсоном во мнении, что языкознание – именно языкознание, лингвистика – не интересуется психическими процессами

речи, что его занимают только продукты речевых процессов, соответствующие «результативные образования». Это прокладывает четкий раздел между лингвистикой и психолингвистикой, и так тому и быть. Консервируется традиционный образ лингвиста, которому в качестве исходного материала для анализа, обобщений, систематизации дана «речь», а последняя за вычетом процесса ее порождения предстанет не иначе как в виде письменного текста; из этой «речи» лингвист и «извлекает», например, по А.И. Смирницкому, «язык», единственно в «речи» и существующий (*Смирницкий*, 1954, с.19,29 – 30). Венчается такое представление о лингвисте замечанием А.А. Леонтьева о том, что «лингвист органически не способен думать в терминах процессов: он оперирует только единицами и их свойствами» (*Леонтьев*, 1969б, с.104).

Способности лингвистов вряд ли имеют отношение к рассматриваемому вопросу, и их можно не касаться. В том же, что касается действительной деятельности лингвиста, все обстоит в определенном отношении в точности наоборот. Ибо материал лингвиста, называемый *текстом*, *представляет собой*, во всяком случае в исходный момент обращения к нему, *процесс*: зрительные (и тем более звуковые) сигналы, поступающие на соответствующие органы субъекта восприятия из интерсубъективной среды, не «несут» в себе информацию, а *возбуждают* ее в воспринимающем их воздействие индивиде, в частности в лингвисте, и функционируют в ка-

честве *языковых* знаков в его голове, при посредстве его психофизиологического «языкового механизма». Адресат речи воспроизводит в своем сознании – с той или иной мерой адекватности – осуществленный отправителем речи *процесс* соотнесения смыслового задания высказывания с значениями языковых знаков (включая, разумеется, значения синтагматических моделей), которые вовлечены в его выражение. Лингвист – в качестве адресата речи, к которой он обращается как к своему материалу, – может, конечно, мысленно отвлекаться от процесса формирования речевого потока и представлять себе его сегменты как «результативные образования». Это может быть полезно и необходимо для постановки и решения некоторых задач. Но «результативным образованиям» («продуктам») речевой деятельности нельзя приписывать статус непосредственных *объектов* (объектов наблюдения), ибо «продукт» есть нечто получающее самостоятельное существование после завершения породившей его деятельности, а сегменты речевого потока *осуществляются* только в нем самом. И даже занимаясь парадигматическими отношениями между элементами языковой системы, лингвист фактически имеет дело с отношениями динамического типа, так как за ассоциациями (связями) стоит ассоциирование (связывание), и если игнорировать эту динамику, то вместе с ней лишается логического основания вся плоскость языкового развития.

Вспоминается один эпизод сорокалетней давности. А.А.

Леонтьев готовил материалы для сборника «Теория речевой деятельности (Проблемы психолингвистики)» (вышел в свет в 1968 г.). Автор настоящих заметок предложил раздел под заглавием «Язык человека как объект лингвистической науки». В качестве *объекта лингвистики*, представляемого как общий объект лингвистики и психолингвистики, в этой статье рассматривается «язык человека», т.е. психофизиологическая система индивида – вместе с переходом от нее к системе таких (непрерывно взаимодействующих в общении) систем как действительности социального языка. А.А. Леонтьев настоял на том, чтобы в заголовке (только в заголовке) выражение «язык человека» было заменено термином «языковая способность человека». Этим было достигнуто совмещение (индивидуального) «психофизиологического речевого механизма» Л.В. Щербы с «языковой способностью» в системе понятий А.А. Леонтьева, хотя и возникло противоречащее этой системе указание на подведомственность «языковой способности» лингвистике (а не исключительно психолингвистике).

В упоминаемой статье (Павлов, 1968) утверждается представление о языке («языковой системе» Л.В. Щербы, «языковом стандарте» А.А. Леонтьева), как о том *общем*, что *воплощено* в совокупности языковых систем индивидов, составляющих конкретно-языковой коллектив. Общее существует не менее объективно, чем единичные, в которых оно содержится. И нет никакой надобности снабжать «язык»

в его качестве «языковой системы» атрибутом виртуальности, а затем напоминать о тезисе, согласно которому идеальное столь же реально и объективно, как и материальное, чтобы представить существование языковой системы в свете ничем не ущемленной объективности (Леонтьев, 1970, с.327). Языковая система объективна в своем качестве константных, постоянно повторяющихся, регулярно воспроизводимых, контролируемых чувством нормы элементов варьирующихся индивидуальных проявлений речевой деятельности, которую осуществляют индивидуальные же психофизиологические речевые механизмы.

Совершенно независимо от того, думает или не думает лингвист в терминах процессов и вообще в психологических терминах, он постоянно и неотвратимо имеет дело с психическими феноменами. За подтверждениями этого далеко ходить не требуется. Уже выполняя исходное условие своей аналитико-синтетической деятельности, а именно сегментируя текст с целью выделить в нем какие-либо компоненты, подлежащие моделированию в качестве «лингвистических единиц», исследователь не может не ориентироваться на признак *воспроизводимости* образований, которые презентует ему речевой поток. Воспроизводимость основывается на памяти. Память же содержит в себе языковые образования, так или иначе соотнесенные, *ассоциированные* друг с другом, и обсуждая вопрос о *выборе* говорящим конкретного способа выражения, лингвист обращается к элементам

языковой системы, которые объединены в сообщества посредством именно ассоциаций в «языковом сознании» индивидов – будь то синонимы или антонимы, тематические объединения лексем разных уровней обобщенности, перифрастический арсенал синтаксических конструкций и т.п.

Обратим в этой связи внимание также на явления языкового строя, которые принято называть переходными или промежуточными и которые в теории полевой структуры языковой системы рассматриваются как органические компоненты языковой системы, закономерно основывающиеся на «многоаспектности», на комплексном характере их качественных определенностей (Адмони, 1961; Павлов, 2001). Явление, занимающее в системе место в зоне пересечения двух разноименных «полей», характеризуется тем, что в его качестве совмещаются признаки, по которым соответствующие поля не просто различаются, но – на некотором общем основании – противоплагаются друг другу, что равносильно внутренней противоречивости такого явления. При их изучении исследователь совершает переходы от общей характеристики класса к его отдельным «экземплярам» (и обратные переходы) и – с высокой мерой вероятности – вычленяет в *переходном* явлении, в его единичных представителях и их группах, *континуум* постепенного нарастания-ослабления *выраженности* противостоящих друг другу признаков. Ср. высказывания В. Б. Касевича о релевантности «принципа триплетного кодирования» и о «возрастающей/убываю-

щей близости» образований, составляющих переходную зону, «к одному из полюсов» (Касевич, 1988, с.274).

Например, в немецком языке обширная масса глагольно-наречных соединений располагается между полюсами синтаксиса и (лексемного) словообразования. Это означает, что они специфическим для них образом причастны к характернейшему для языковых (и собственно речевых) образований вообще противоречию *расчлененных целостностей*, обусловленному линейностью комбинаций языковых знаков. Это противоречие сопряжено с конкурентным соотношением анализа и синтеза и в формировании, и в восприятии соответствующих образований. Не вдаваясь в неуместные здесь подробности, укажем на то, что в зависимости от ряда «привходящих» факторов, таких как порядок слов, наличие или отсутствие в предложении элементов, «распространяющих» само наречие и тем самым (относительно) автономизирующих его по отношению к глаголу, наличие или отсутствие в ближайшем контексте элементов, в связи с которыми наречие может проявлять свои местоименно-заместительные потенции, а также в зависимости от уровней и конкретного характера идиоматичности отдельных глагольно-наречных соединений они оказываются *в разной степени близости или удаленности* от названных выше полюсов. Ср. *Der Bauer ist in das Haus hineingegangen* и *Der Bauer ist in das Haus hinein gegangen*. Здесь различие слитного и раздельного написания недвусмысленно указывает на отличие значения *hineingehen*

как обобщенного отражения *таких* действий, (референтно, денотативно) отнесенного к некоему единичному случаю, от представления данного действия как *gehen* с *ситуативной* конкретизацией в виде *hinein*. На фоне однословного – учитываемого словарями – глагола *hineingehen* (в связи с ним) словосочетание *hinein gehen* может восприниматься также как устойчивое, лексемное, и этот лексемный момент сближает обе формы выражения друг с другом на какую-то долю разделяющего их в системе расстояния. Вместе с тем *hinein* «поместоименному» соотносится с *in das Haus*, и это его собственная синтаксическая связь, что придает синтаксическую автономность не только отделенному *hinein* во втором предложении, но – *в некоторой мере* – и *hinein*- как компоненту сложного глагола в первом предложении. Относительное равновесие между противоположными началами устанавливается при следовании правилу конечной позиции отделяемых компонентов составных глаголов в предложении, ср. *Der Bauer geht ins Haus hinein*. Проекция *hinein* в глагол при отделении наречия от глагола ослабляется, усиливается автономность наречия, когда оно отделено, но помещено не на последнее место, а входит в состав словосочетания вида *hinein ins Haus*: *Der Bauer geht hinein ins Haus*. В последнем случае мы имеем не «отклонение от рамочной конструкции», а типовое сочетание наречия с конкретизирующей его смысловое содержание предложной группой, следующей за наречием, и такое сочетание может занимать в предложении

различные позиции, сохраняя единство своего построения, ср., например, ... da der Bauer hinein ins Haus gegangen ist.

Мы затронули здесь в качестве примера лишь некоторую часть комплекса вопросов, связанных с разнообразием форм, в которых являются в немецкой речи соединения направительного наречия с глаголом (Павлов, 2003)⁵. Соединения типа hinein=gehen (в условном написании, отражающем их промежуточность) в актах их употребления испытывают *в разной мере* притяжение к противоположным системно-языковым образцам обращения с ними, лексемному (доминантно целостно-синтетическому) и синтаксическому (доминантно аналитическому). Основой того, что мы назвали притяжением, а можно было бы назвать и подчинением по аналогии, являются ассоциации, о которых известно, что они помимо прочего различаются по силе, и это обстоятельство неотделимо от всякой попытки объяснения сложившейся в языке конкретной ситуации.

В одной из своих работ автор настоящей статьи позволил себе высказаться следующим образом: «Лингвистика «менталистическая» – а иной лингвистика как научное целое, как теоретическая система, независимо от своих отдельных специфически формальных ответвлений, и не может быть, не утрачивая своего действительного объекта, – всегда остается «глубинно», с точки зрения своих действительных исходных предпосылок, и личностной, и психологически ориенти-

⁵ Грамматики немецкого языка дружно игнорируют это разнообразие.

рованной, придерживается понимания объективности языковых значений как объективности фактов «языкового сознания» говорящих индивидов и совершает при этом правомерные переходы от индивидуальных «языковых сознаний» (и индивидуальной речемыслительной деятельности) к общественному «языковому сознанию». Афористически заостряя это положение, можно сказать, что лингвистика не может не быть психолингвистикой (то, что она далеко не всегда выступает в этом качестве в своей рефлексии на себя, ничего не меняет)» (Павлов, 1985, с.11).

Признание языкоречевой действительности общим объектом моделирования, которое осуществляется лингвистикой и психолингвистикой – с устранением искусственного разделения этой действительности на «язык» для лингвистики и «речевую деятельность» для психолингвистики – открывает перспективу синтеза вырабатываемых этими дисциплинами моделей, причем без того чтобы лингвистическая и психолингвистическая модели повторяли друг друга. Для лингвистики на передний план выдвигается изучение и описание *языка*, осмысление же и учет *речевых процессов* отодвигается на второстепенное положение по отношению к этой главной цели; для психолингвистики, напротив, в круге ее интересов и целей соответствующие «аспекты» меняются местами. Психолингвистика непосредственным образом переплетается с нейролингвистикой; помимо этого преимущественно именно психолингвистика (в союзе с нейролинг-

вистикой) обеспечивает лингвистике ее экспериментальную базу. Для разделения труда по разным *предметам* исследования при общем *объекте* есть все основания. Для обеих отраслей науки о языкоречевой действительности «язык» в его объектно-онтологическом статусе остается психофизиологическим механизмом речи, в одном случае глобально обобщенным на языковое сообщество системно непрерывным, но все же и при этом психофизиологическим механизмом, в другом случае – психофизиологическим механизмом индивида, но *в обоих случаях* – явлением, из которого при формировании предмета научной дисциплины нельзя устранить психофизиологические закономерности языка-речи без ущерба для полноты соответствующего предмета, его внутренней организации и перспектив его развития.

Сотни специалистов, в основном представителей научной молодежи, в 60 – 70-х гг. постигали азы психолингвистики, увлекались ее перспективами и активно включались в психолингвистическую исследовательскую деятельность благодаря опубликованным в это время многочисленным работам А.А. Леонтьева и благодаря его неутомимой и плодотворной организационной деятельности. Его громадный вклад в разработку психолингвистической проблематики остается актуальным сегодня и останется таковым в обозримом будущем. Актуальными до сих пор остаются и некоторые разногласия, закономерно возникающие в среде единомышленников. К таким разногласиям можно причислить обозначившиеся в

давно минувшие годы различия в подходах к решению онтогносеологического вопроса о способе (способах?) существования «языковой системы» как независимого от наблюдателя и исследователя *объекта* научного знания, различия, представленные, в частности, в позициях А.А. Леонтьева и автора настоящей публикации. Предавая ныне огласке споры с Алексеем Алексеевичем, которые то в Москве, то в Ленинграде затягивались нередко далеко за полночь, выражаю надежду, что их содержание может и в наши дни представлять научный интерес.

Литература

Адмони В.Г. Проблема «замыкания» в немецком литературном языке // Иностранные языки в школе. 1949. № 2. С. 34 – 45.

Адмони В.Г. Развитие структуры простого предложения в индоевропейских языках // Вопросы языкознания. 1960. № 1. С. 21 – 31.

Адмони В.Г. О многоаспектно-доминантном подходе к грамматическому строю // Вопросы языкознания. 1961. № 2. С. 42 – 52.

Адмони В.Г. Статус обобщенного грамматического значения в системе языка // Вопросы языкознания. 1975. № 1. С. 39 – 54.

Бодуэн де Куртене И.А. Избранные труды по общему языкознанию. М.:Изд-во АН СССР, 1963. Т. 2.

Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М.: На-

ука, 1988.

Кацнельсон С.Д. Вступительная статья // Пауль Г. Принципы истории языка. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.

Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л.: Наука, 1972.

Кацнельсон С.Д. О грамматической семантике // Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание / Под ред. А.В. Десницкой. Л.: Наука, 1986. С. 145 – 152.

Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М.: Наука, 1975.

Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. М.: Наука, 1965.

Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: Просвещение, 1969а.

Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М.: Наука, 1969б.

Леонтьев А.А. Психофизиологические механизмы речи // Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка / Отв. ред. Б.А.Серебренников. М.: Наука, 1970. С. 314 – 370.

Павлов В.М. Языковая способность человека как объект лингвистической науки // Теория речевой деятельности: (Проблемы психолингвистики) / Отв. ред. А.А. Леонтьев. М.: Наука, 1968. С. 36 – 68.

Павлов В.М. Понятие лексемы и проблема отношений

синтаксиса и словообразования. Л.: Наука, 1985.

Павлов В.М. Принцип поля в грамматическом исследовании и идея противоречия // Исследования по языкознанию: К 70-летию члена-корреспондента РАН Александра Владимировича Бондарко. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. С. 8 – 12.

Павлов В.М. Вариативность соединений направительного наречия и глагола в немецком языке // Проблемы функциональной грамматики. СПб.:Наука, 2003. С. 284 – 325.

Пауль Г. Принципы истории языка / Пер. с нем. под ред. А.А. Холодовича. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.

Серебренников Б.А. К проблеме сущности языка // Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка / Отв. ред. Б.А.Серебренников. М.: Наука, 1970.

Смирницкий А.И. Объективность существования языка. М.: Изд-во Московского университета, 1954.

Чикобава А.С. Проблема языка как предмета языкознания. М.: Учпедгиз, 1959.

Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность /Под ред. Л.Р. Зиндера, М.И. Матусевич. Л.: Наука, 1974.

ТЕТРАГОН И ЕГО ГРАНИ: ТЕКСТ, КОНТЕКСТ, ПОДТЕКСТ И ЗАТЕКСТ

Ю.А. Сорокин

Начну с того, что напомним один известный эпизод: д'Артаньян после своего путешествия в Лондон отыскивает в трактире Арамиса, собирающегося поменять шпагу на сутану, и между ними происходит следующий разговор: «Сейчас мы будем обедать, любезный друг; только не забудьте, что сегодня пятница, а в такие дни я не только не ем мяса, но не смею даже глядеть на него. Если вы согласны довольствоваться моим обедом, то он будет состоять из вареных тетрагонов и плодов. Что вы подразумеваете под тетрагонами? – с беспокойством спросил д'Артаньян. Я подразумеваю шпинат, – ответил Арамис» (*Дюма*, 1956, с.286).

Я отнюдь не хочу сказать, что между тетрагонами Арамиса и тетрагоном (см.: «Тетрагон [гр. *tetragōnon*] – четырехугольник»)(Словарь... 1954, с.688) в заглавии статьи есть какая-либо связь, но от некоторого беспокойства избавиться не могу. Как и другим, мне хочется знать, что же подразумевается, когда начинают рассуждать о вышеуказанных составляющих тетрагона – о тексте, подтексте, контексте и затексте. О них говорилось и писалось немало, но наиболее четко подытожил точки зрения, предлагая, в свою очередь,

нестандартные решения, по-видимому, А.А. Богатырев (*Богатырев*, 1998). По его мнению, «минимальной субстанциональной единицей смыслопостроения, выступающей в качестве частной грани сложного смысла, является ноэма. Помимо смысла, в составе художественного текста можно выделить собственно содержание. Под содержанием текста понимается сумма текстовых предикаций, причем не только эксплицитных, присутствующих в развернутом виде (текстовые пропозиции), но и содержащихся в тексте в качестве выводного знания (пресуппозиции, импликации). <...> Интеграционным по отношению к содержанию и смыслу текста является понятие текстовой содержательности. Содержательность художественного текста может быть определена как сложное единство содержания и смысла (смыслов). При этом содержание художественного текста не равно его смыслу» (*Богатырев*, 1998, с.29).

(Примечание. Во-первых, неясно соотношение понятий *содержание* и *содержательность* художественного текста. Не является ли это соотношение несколько тавтологическим? – «содержательность... как сложное единство содержания...» вряд ли различимы как нечто родовое и видовое. Во-вторых, как соотносятся «сложный смысл» и «текстовая содержательность» также остается неясным. И особенно потому, что она, в свою очередь, понимается в качестве «сложного единства». В-третьих, расплывчатая соотнесенность этих понятий не позволяет считать справедливым

и утверждение об ее интеграционной роли).

Тем не менее, понятие интеграционности не может быть сброшено со счетов в рассуждениях о структуре художественного – и любого другого – текста, как не может быть сброшено со счетов и утверждение о его слоевом строении (Р. Ингарден). Безусловно, эти слои интегрируются, но не сами собой, а авторами и реципиентами (какого-либо текста), выступая в виде некоторой целостности, хотя в ней не исключены и некоторые разрывы (лакуны). В свою очередь, «цельность (целостность) есть латентное проекционное (концептуальное) состояние текста, возникающее в процессе взаимодействия реципиента и текста, в то время как связность есть рядоположенность и соположенность строевых и нестроевых элементов языка/речи, есть некоторая дистрибуция, законы которой определены технологией соответствующего языка (с этой точки зрения вообще не может быть несвязных текстов)» (Сорокин, 1982, с.65). Ср. в связи с этим следующее утверждение А.И. Новикова: «Анализ высказываний испытуемых позволяет, на наш взгляд, предположить, что доминирующую роль... играет содержательная связь внутри некоторой структуры, характеризующейся определенной замкнутостью и целостностью. Такая структура есть не что иное, как предметная, или ментальная, ситуация, выраженная в тексте соответствующими языковыми средствами» (Новиков, 1999, с.46). Иными словами, **ТЕКСТ** является совокупностью предметных/ментальных

ситуаций, описывающих и денотативное, и коннотативное поведение (см.: Матурана, 1996, с.114 – 119), характеризующееся определенными ноэтически-ноэматическими признаками / свойствами, специфицирующими состояние того или иного возможного (допустимого и допускаемого) мира.

*(Примечание. С этой точки зрения недостаточно эвристическими оказываются такие, например, утверждения: «До недавнего времени в отечественных лингвистических работах термин “связный текст” употреблялся только для обозначения речевой продукции, зафиксированной в письменной форме. В последнее время этот термин употребляется, как правило, для обозначения не только письменной, но и устной связной речи, передаваемой различными способами. Сейчас уже можно с полной определенностью считать, что в лингвистическом узусе термин “связный текст” закрепился для обозначения связной речевой продукции независимо от способа ее репрезентации. <...> Наиболее общий характер носит закон связности. На его основе формируется само понятие связного текста. В общем виде этот закон можно сформулировать так: **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕКСТА СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ПО СМЫСЛУ, И ЭТА СВЯЗЬ ВЫРАЖЕНА РАЗЛИЧНЫМИ ЯЗЫКОВЫМИ СПОСОБАМИ**» (Откупщикова, 1982, с.4 – 5, 36).*

В связи с последним высказыванием приведу точку зрения М. Хайдеггера: «То, что мы обыкновенно считаем речью, а именно, состав слов и правила их соединения, есть лишь пе-

редний план речи» (*Хайдеггер*, 1991, с.40).)

Возвращаясь к рассуждениям А.А. Богатырева об единице смыслопостроения/ноэматической единице (текст как их совокупность и есть то, что можно было бы назвать, пользуясь метафорой Э. Гуссерля, «геометрией переживаний» (*Гуссерль*, 1996, с.63), следует все-таки иметь в виду ее специфический статус: «...Полная ноэма заключается в целом комплексе ноэматических элементов, <...> специфический момент смысла образует в этом комплексе лишь своего рода необходимое ядро, или центральный слой, в котором сущностно фундируются другие моменты, – только поэтому мы и были вправе называть их смысловыми моментами, однако в расширительном смысле слова» (*там же*, с.77). Немаловажен также и факт корреляции поэтических и ноэматических модификаций (*там же*, с.84), предопределяющих те или иные / слабые или сильные фокусы внимания к «геометрии переживаний». Следует учитывать, что, по мнению Э. Гуссерля, сущность поэтического заключается «в том, чтобы вскрывать в себе нечто, подобное “смыслу”, скрывать в себе даже и многогранный смысл...» (*там же*, с.73), что структура *аттенционального ядра* и *аттенциональных сдвигов* формируется под влиянием тех «целепологаний», которые ей приписывают ноэзы.

Если в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» истолковываются понятия *текста* (*Лингвистический...*, 1990, с.507) и *контекста*: «...Фрагмент текста, включаю-

щий избранную для анализа единицу, необходимый и достаточный для определения значения этой единицы, являющегося непротиворечивым по отношению к общему смыслу данного текста. Иначе говоря, контекст есть фрагмент текста минус определяемая единица» (*там же*, с.238), то понятия *подтекст* и *затекст* в нем отсутствуют (по-видимому, ЭТО-ЕЩЕ-НЕ-ТЕРМИНЫ / ПОЧТИ ТЕРМИНЫ?). Почти такое (по сути) истолкование предлагала и М.И. Откупщикова: «Контекстом данного предложения принято считать часть текста, расположенную влево или вправо от данного предложения (в случае письменной формы), или произнесенную до (после) в случае устной формы. Конситуацией (или ситуацией речи) в узком смысле называются обстоятельства, сопутствующие произнесению (написанию) связного текста» (*Откупщикова*, 1982, с.13). По мнению А.А. Богатырева, понятие контекста является растяжимым до бесконечности и «плавающим» (*Богатырев*, 1998, с.56), а истолкование понятия подтекста, предлагаемого исследователями, противоречивым: в этом истолковании не различаются «1) потенциальные и актуальные элементы смыслообразования; 2) н-эмы, усматриваемые (а) на основе опыта семантизирующего и (б) на основе наблюдений над содержательной стороной высказывания» (*Богатырев*, 1998, с.59). Он полагает, что «на статус сокрытого интенционального начала в тексте может претендовать «затекст». Обычно этот термин интерпретируется как те значащие компоненты смыслообразования, кото-

рые непосредственно не представлены в тексте» (*там же*, с.56).

Показательно для статуса понятия *подтекст*, что Н.А. Кузьмина, обсуждая различия в истолковании *интертекста*, пишет следующее: «Интертекстом называют... подтекст как компонент семантической структуры произведения (С.Т. Золян). Центр тяжести таким образом переносится на интерпретацию, понимание (Золян, 1989)» (*Кузьмина*, 2004, с.20). Показательно также, что, рассматривая *контекстную связанность* (Лайонз, 1978, с.250 – 262), Д. Лайонз квалифицирует понятие *контекста* как интуитивное / неопределяемое, настаивая на том, что «контекст высказывания не может быть просто отождествлен с пространственно-временной ситуацией, в которой оно имеет место; он должен включать в себя не только релевантные объекты и действия, происходящие в данном месте и в данный момент, но также и знание, общее для говорящего и слушающего, знание того, что было сказано раньше, в той мере, в какой сказанное ранее существенно для понимания данного высказывания. Мы должны включить в него также молчаливое согласие говорящего и слушающего со всеми релевантными обычаями, убеждениями и пресуппозициями, которые считаются «само собой разумеющимся» для членов речевого коллектива, к которому принадлежат говорящий и слушающий» (*там же*, с.437). Немаловажен и факт разведения Д. Лайонзом ограниченных и развивающихся контекстов: пер-

вые, по его мнению, это контексты, «в которых участники беседы не опираются ни на предшествующие знания друг о друге, ни на «информацию», содержащуюся в ранее произнесенных высказываниях, но в которых они используют более общие мнения, обычаи и пресуппозиции, господствующие в данной конкретной «сфере рассуждения» в данном обществе» (*там же*, с.443 – 444), вторые – это контексты, ориентированные на амплификацию тел знаков и их ментальных коррелятов. Все вышепротитированное позволяет, по-видимому, рассматривать *текст* как совокупность контекстивов, сцепленных между собой некоторой интенциональной авторской установкой, но контекстивов различных: контекстивов обыденного общения, контекстивов ограниченных, и контекстивов амплификационных, характерных для беллетристического общения, причем они вряд ли подчиняются правилам релевантности (по Д.Лайонзу), ибо выстраиваются по принципу дополняющей друг друга мозаичности, а не в духе автобиографии или устава. Дело осложняется еще и тем, что эти контекстивы являются *интратекстовыми*, а говоря иначе, интраконтекстивами/эндоконтекстивами, которые следует отличать от интерконтекстивов/экзоконтекстивов, отсылающих не только от микро- и макрофрагмента одного текста к микро- и макрофрагменту другого текста, но и от одного *дискурса* к другому *дискурсу*, понимая под ним совокупность и вербальных, и невербальных ментально-интенциональных установок того или другого продуциента. Ес-

ли полагать вслед за Ж. – П. Сартром, что этим установкам присущи, как и свободе, независимость, безосновность и неоправданность (*Сартр*, 2004, с.42), то очевидно, что ее аксиологический статус может быть выявлен лишь в результате анализа авторского психотипа как совокупности экзистенциально-креативных координат (о таких попытках см.: *Фаустов*, 2000; *Савинков*, 2004), рамками которых ограничено чье-либо духовное бытие: «Духовность есть некое бытие, и она проявляет себя именно как бытие: ей присущи объективность, монолитность, постоянство и внутренняя самождественность, свойственные бытию, в котором, однако, таится внутренняя оговорка: это бытие воплощено не до конца...; оно никогда не наличествует полностью, не бывает полностью зримым, но в силу своей предельной сдержанности как бы повисает между бытием и небытием (*Сартр*, 2004, с.118). Иными словами, и эндоконтекстивы, и экзоконтекстивы суть шифтеры (в самом широком смысле этого термина), или эготические дейксисы, в чьей вербальной (и невербальной?) фактуре представлены те или иные личностные особенности/состояния, свидетельствующих о явных и скрытых установках продуциента, противопоставляемых – в жесткой или мягкой форме – некоторым другим, существующим в реальном или возможном мире. То, что А.А. Богатырев называет противотекстом (лучше бы: контрминитекстом) оправданнее квалифицировать как эндоконтекстив, чья ценность заключается именно в его «изотеричной

интервальности» (*Богатырев*, 1998, с.84), напротив, он является экстенсификатором этого окружения, способствующим возникновению остаточной энтропии (оной см., в частности: *Иванов*, 2004, с.148 – 153).

По мнению А.А. Богатырева, «на статус сокрытого интенционального начала в тексте может претендовать “затекст”. Обычно этот термин интерпретируется как те значащие компоненты смыслообразования, которые непосредственно не представлены в тексте. При этом часто за термином “затекст” (в узком смысле) закрепляются опущенные, неназванные сведения, а личностный (связанный с “пониманием индивидом себя самого”) аспект неназванного относится к “подтексту”...» (*Богатырев*, 1998, с.56). На мой взгляд, термин «затекст» подлежит нуллификации: он излишен, ибо «затекст» есть не что иное, как экзоконтекстив (в узком смысле этого слова), или семиомегатекст, указывающий на «значащие компоненты смыслообразования» в опыте и реципиента, и продуциента, причем этот опыт зачастую не может быть эксплицирован до конца, что и способствует возникновению *дуги беллетристической аттрактивности* между автором, текстом/художественным коммуникантом и реципиентом. Иными словами, семиомегатекст – иное название того, что следует квалифицировать как *дискурс*. К тому же «подтекст», истолковываемый в качестве разновидности «затекста» (в широком смысле этого слова), отсылающего к пониманию индивидом самого себя, есть, по сути

дела, термин, оказывающийся избыточным по отношению к термину *личностный смысл*. Возможно, я не прав, но «ни одно полагание не является окончательным. Для любого полагания, полагаемого... очевидным, можно отыскать основания, чтобы отвергнуть его» (*Лебедев, Черняк, 2001, с.216*). Существует, правда, и другой выход: не отвергать основания, а усомниться в них по тем или иным причинам. Такую возможность и представляет, например, статья В.А. Лукина (*Лукин, 2004*). Во-первых, некорректно рассуждать о схеме *автор – текст – получатель* (и о соотношениях внутри этой триады), вскользь упоминая Н.А. Рубакина (приоритет – за ним) и обходя вниманием его библиопсихологическую теорию. Во-вторых, противопоставляя художественные тексты нехудожественным, В.А. Лукин считает само собой разумеющимся *понятие художественности*, или, лучше сказать, беллетристичности, сложность которой (и ее разновидностей) детально проанализирована А.А. Богатыревым, указавшим на необходимость понимания ее как интенционального феномена. В-третьих, противопоставляя (художественный) текст *произведению*: «статичный момент процесса интерпретации, характеризующийся относительно готовым и законченным результатом – проекцией цельности текста» (*Лукин, 2004, с.119*), В.А. Лукин не учитывает следующего: а) Н.А. Рубакин говорил о *проекции текста*, а не о проекции его цельности. Цельность – ингерентное качество/свойство авторского текста, а проекция есть лишь его

переструктуризация, которая может быть какой угодно – и полной, и неполной, и диффузной, и латентной. Иными словами, цельность авторского текста не тождественна цельности читательских текстовых проекций, возникающих на основе психобиотипических особенностей, присущих тому или иному реципиенту / тем или иным группам реципиентов, б) проекцию вряд ли можно рассматривать как нечто статичное, относительно (?) готовое и законченное (Н.А.Рубакин указывал, что для мнематических составляющих характерна динамика. Они видоизменяются), в) *произведение*, как на этом настаивает А.А. Богатырев (вслед за Рикером, Бартом и Лотманом), есть лишь **ВЕЩЬ**, принадлежащая некоему хронотопу/некоей **СРЕДЕ**, которая внеположена человеческой рефлексии, а **ТЕКСТ** есть **КОНТРВЕЩЬ**, возникающая в силу ментальных усилий и принадлежащая супернатуральному миру, г) по В.А.Лукину, «тип текста – это градуальное понятие, которым обозначен феномен с размытыми границами» (там же, с.121), но это утверждение относится к числу слишком «размытых»: вряд ли «понятие, которым обозначен феномен», что-либо разъясняет. Если иметь в виду не тип текста **ВООБЩЕ**, а *художественный тип текста*, то, очевидно, его следует понимать как некий конгломерат вербализированных психических состояний (экзистенциальных координат), как некую чувственно-аффективную и когитивнокогнитивную мозаику, цементируемую, как считает А.А. Богатырев, **ИДЕЕЙ** в том ее понимании, какое предлагал И.

Кант. В-третьих, истолкование В.А. Лукиным таких, например, понятий, как *связность* и *цельность* в той же мере «традиционны», в какой и мало эвристичны. Ср.: «Связность – одно из основных свойств текста, базирующихся на его знаковой последовательности», а «цельность – план содержания целого текста» (*там же*, с.117, 118).

(Примечание. Показательно также и утверждение В.А. Лукина о существовании локальной и глобальной связности (*там же*, 2004, с.118), различие между которыми является, на мой взгляд, весьма относительным: в принципе связность всегда *локальна*, итерационна и аддитивна. Глобальная связность – это та же цельность. Неясно и его понимание того, что он называет «планом содержания». В чем его отличие от текстовой содержательности и содержательной формы (при всей спорности толкований, предлагаемых А.А. Богатыревым)?) Короче говоря, в нашем меню мало изменений: арамисовские тетрагоны не сходят со стола.

Литература

Богатырев А.А. Схемы и форматы индивидуации интенционального начала беллетристического текста. Тверь: Тверской государственный университет, 2001.

Богатырев А.А. Элементы неявного смыслообразования в художественном тексте. Тверь: Тверской государственный университет, 1998.

Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии // Язык и интеллект. М.: Наука, 1996.

Дюма А. Три мушкетера. М.: Государственное изд-во художественной литературы, 1956.

Иванов Вяч.Вс. Лингвистика третьего тысячелетия. М.: Языки славянской культуры, 2004.

Кассирер Э. Философия символических форм. М.; СПб.: Университетская книга, 2003. Т. 1.

Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. М.: Новое литературное обозрение, 2004.

Лайонз Д. Введение в теоретическую лингвистику. М.: Прогресс, 1978.

Лебедев М., Черняк А. Онтологические проблемы референции. М.: Гнозис, 2001.

Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990.

Лукин В.А. Типология текстов: головоломка – проблемы – кризис – новые перспективы // Русское слово в русском мире. М.; Калуга: КГУ, 2004.

Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект. М.: Наука, 1996.

Новиков А.И. Текст, смысл и проблемная ситуация // Вопросы филологии. 1999. № 3.

Откупицкова М.И. Синтаксис связного текста. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.

Савинков С.В. Творческая логика М.Ю. Лермонтова: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Воронеж, 2004.

Сартр Ж. – П. Бодлер. М.: Гнозис, 2004.

Словарь иностранных слов. М.: Государственное изд-во иностранных словарей, 1954.

Сорокин Ю.А. Текст: цельность, связность, эмотивность // Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М.: Наука, 1982.

Фаустов А.А. Творческое поведение Пушкина. Воронеж, 2000.

Хайдеггер М. Гельдерлин и сущность поэзии // Логос. 1991. Вып. 1. С.37 – 47.

КОММУНИКАЦИЯ, СИТУАЦИЯ, СОБЫТИЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПОВЕСТВОВАНИЯ

И.Г. Овчинникова

Цель данной работы – установление взаимоотношения выделенных Алексеем Алексеевичем Леонтьевым коррелятивных понятий ситуации общения и ситуации-темы, равно существенных для развертывания речи, на материале повествовательного высказывания.

1. Речевое высказывание – центральный объект исследований Алексея Алексеевича Леонтьева. Алексея Алексеевича интересовало не только моделирование порождения речи – выявление этапов перехода от смысла к речевому высказыванию (1969), – но и сама природа высказывания, его универсальные (характерные для предложения и текста) и специфические (проявляющиеся в тексте) характеристики (1976). Развивая свою концепцию, Алексей Алексеевич отказался от идеи линейности внутренних этапов, настаивая на том, что процессы планирования смысла и кодирования его средствами национального языка не могут быть последовательными, должны быть в принципе нелинейными (*Леонтьев, 1997а, с.114*). В частности, А.А. Леонтьев обратил внимание на важность разграничения двух ситуаций, равно

значимых для планирования речевого сообщения: ситуации общения и ситуации-темы (*там же*).

Ситуация общения оказалась центральным объектом лингвистической прагматики и основанием для построения типологии речевых актов. Тем не менее, внутренняя программа высказывания отражает, по мнению Алексея Алексеевича, психологическую структуру ситуации-темы. Вероятно, развертывание психологической структуры ситуации-темы в речевом высказывании происходит параллельно с развитием ситуации общения.

Любое речевое высказывание можно рассматривать в трех аспектах, имея в виду три относительно автономные сферы: в когнитивном, коммуникативном и языковом. В когнитивном аспекте высказывание представляет собой вербальное воплощение определенной когнитивной единицы (структуры): концепта, фрейма, скрипта. В коммуникативном аспекте высказывание рассматривается как выражение интенции в соответствии с текущей ситуацией общения: в высказывании реализуется определенный речевой акт или жанр. В языковом аспекте высказывание оказывается речевой репрезентацией языковой единицы (предложения, текста), организованной в соответствии с правилами национального языка из единиц словаря по устойчивой синтаксической модели, интонационно оформленной. Когнитивный и коммуникативный аспекты представлены и в языковом: как семантическая структура предложения и как коммуникативное чле-

нение предложения.

Примем за исходную гипотезу: ситуация общения предопределяет перевод когнитивных единиц в коммуникативные, ситуация-тема предопределяет языковое воплощение когнитивных структур. Разумеется, разграничение когнитивного, коммуникативного и языкового аспектов речевого высказывания весьма условно.

Соотношение ситуации общения и ситуации-темы целесообразно изучать на материале, в котором варьирует только один из исследуемых параметров. Ситуация общения многомерна, она характеризуется целым рядом признаков: коммуникативным намерением, социальной дистанцией между коммуникантами, каналом связи и пр. (Леонтьев, 1997б). В качестве константы многомерной ситуации общения можно рассматривать речевой жанр – понятие, введенное М.М. Бахтиным (1979а). В этом понятии аккумулировано коммуникативное и языковое: правила коммуникативного (обращение к партнеру, режим мены ролями говорящий – слушающий) и речевого поведения (развертывание высказывания) в определенной ситуации. Речевой жанр рассматривают и как модель высказывания в определенной ситуации, и как единицу социального взаимодействия (например: Жанры речи, 1997 – 2004).

Вариативность ситуации-темы определяется предметами обсуждения. Ситуация-тема отражает «объективную предметно-смысловую сторону высказывания», которую замы-

сел автора (говорящего) соединяет «с конкретной ситуацией речевого общения со всеми индивидуальными обстоятельствами его» (Бахтин, 1979а, с.256). Объективная предметно-смысловая сторона высказывания соотносится с определенным когнитивным образованием – концептом, событием, понятием и т.п., с мыслью по Л.С. Выготскому, рождающейся из конфликта, из актуальной для субъекта задачи.

Если ограничиться анализом одного речевого жанра, сформировавшегося как модель социального взаимодействия и воплощающего определенное когнитивное образование, можно установить меру корреляции ситуации общения и ситуации-темы, попытаться выявить диалектику объективной предметно-смысловой стороны высказывания и ситуации общения. Стоит обратиться к такому речевому жанру, который представлен во всех сферах общения и реализуется как в первичном, так и во вторичном вариантах. Таким речевым жанром является повествование.

2. Несмотря на огромное количество работ по теории нарратива, повествование в его отношении к первичным и вторичным жанрам пока четко не определены. Основным критерием разграничения первичных и вторичных речевых жанров М.М. Бахтин считал уровень культуры и среду общения: вторичные речевые жанры «возникают в условиях более сложного и относительно высокоразвитого и организованного культурного общения» (1979а, с.239), обычно письменно-го. Первичные речевые жанры обслуживают сферы бытова-

ния разговорной речи, просторечия и диалектов.

Помимо речевого жанра, повествование представляет собой еще и особый функционально-смысловой тип текста (речи). Понятие функционально-смысловой тип текста (речи) акцентирует языковой аспект объекта исследования, поскольку за основу его выделения принимаются языковые категории: лексические и грамматические средства, используемые для воплощения определенного содержания в определенной сфере функционирования национального языка. В речевом жанре доминирует коммуникативный аспект. Насколько мы можем судить, в типе текста и речевом жанре повествование совпадает когнитивный аспект, т.е. воплощаемая когнитивная единица, соотносимая с ситуацией-темой. Попробуем охарактеризовать повествование как тип текста и речевой жанр; на материале повествования выявим специфику первичных и вторичных речевых жанров, т.е. спонтанных и подготовленных речевых высказываний с аналогичным коммуникативным намерением в различных коммуникативных условиях. Тем самым установим соотношение ситуации общения и ситуации-темы повествовательного высказывания.

2.1. Психологическое содержание повествования составляет событие. Само по себе событие является специфической когнитивной единицей, которая в целях коммуникации может быть вербализована. В системе когнитивных единиц событие представлено как единица фоновых знаний (*Шабес*,

1989). Событие, как справедливо утверждает В.Я. Шабес, «лишено оценочных признаков «исключительности», «значительности» и др., характерных для уникальных выдающихся фактов» (*там же*, с.15). Событие как специфическая абстрактная когнитивная единица является социальным обобщением сцен индивидуального опыта: «Событие как когнитивно-семантическая структура формируется на базе ряда однородных сцен, имеющих совпадающие общие и существенные признаки. Событие – это тривиальный инвариант, сцена – уникальный вариант данного инварианта... именно система событий является когнитивной базой в коммуникативных актах двух людей с максимально различным иконическим жизненным опытом» (*там же*, с.17). Иначе говоря, событие как когнитивная структура составляет фон для категоризации текущего опыта, а также для восприятия и понимания текста. В конечном итоге под событием «понимается отраженная в сознании цельная динамическая система взаимосвязанных общих и существенных параметров (признаков) некоторого однородного класса сцен, основными содержательными признаками которой являются «деятель» и «действие», рассматриваемые как двуединство» (*там же*, с.16). Границы события определяются философской категорией времени: любое действие характеризуется временными пределами.

2.2. Повествование необязательно реализуется в речевой форме. Повествовательный момент обнаруживается также и

в неязыковых системах: в изобразительном искусстве, в театре как сценическом искусстве, в кинематографе (*Дюбуа и др.*, 1986). Повествование представляет собой универсальную форму (как форму выражения, так и форму содержания, по Л.Ельмслеу) воплощения события в коммуникации. Благодаря этому и возможна реализация повествования посредством неязыковых знаковых систем. Относительная независимость повествования от речевого воплощения согласуется с представлением о ситуации-теме (ситуации, о которой говорится) как о неречевом и доречевом образовании.

Заметим, что в общей риторике «повествование – тип текста» не разводится с «повествованием-жанром». Для общей риторики это слишком частная задача: и тот, и другой нарративы являются формой содержания в пространстве повествовательного дискурса. В общей риторике на основе ситуации-темы (события) выделяется самостоятельная ситуация общения, точнее – отдельная коммуникативная сфера: повествовательный дискурс. Событие – когнитивная основа повествования, пригодная для коммуникативного воплощения, но свободная от неперемного речевого оформления. Существование неречевых повествований демонстрирует отдельность когнитивного и коммуникативного аспектов от языкового. Выделение события из временного континуума, оформление его в виде определенной когнитивной единицы – первоначальные этапы внутреннего программи-

рования речи, определение ситуации-темы повествовательного высказывания.

2.3. Соответственно вербальным воплощением события является повествовательный дискурс, собственно повествование, простое повествовательно высказывание. Вербализация события всегда преследует определенную коммуникативную цель. С точки зрения цели речевого сообщения – иллюкутивного потенциала в теории речевых актов – повествовательное высказывание чаще всего является ассертивом (*Вежбицка*, 1985, с.252)⁶. Развернутые повествования, представляющие вариативность соответствующего речевого жанра, характеризуются иерархией целей, хотя основной целью остается информирование.

3.0. Таким образом, мы определили когнитивную единицу повествования – событие. Эта единица определяет ситуацию-тему нарратива. Перейдем к подробному обсуждению речевого воплощения события в коммуникации, т.е. в ситуации общения. Если следовать общепринятому разграничению понятий текст и речевой жанр, то соответственно языковым воплощением события является повествование как функционально-смысловой тип текста, коммуникативным –

⁶ Иллюкутивному потенциалу повествовательного предложения как элементарного случая повествования в лингвистической прагматике уделялось и уделяется особое внимание (обзор работ см.: *там же*; *Богданов*, 1996; *Николаева*, 1996), что предопределено многозначностью повествовательной интонации и амбивалентностью выражения отношения говорящего к смыслу повествовательного общения.

повествование как речевой жанр.

3.1. Охарактеризуем повествование как содержательный (функционально-смысловой) тип текста/речи.

3.1.1. В функциональном аспекте повествование может выполнять дискурсивные функции других типов, в то время как описание, аргументация, разъяснение или дидактический текст не в состоянии функционировать в качестве повествования (*Bruner, 1990*). На этом основании повествование, как нам кажется, вполне справедливо, считают базовым типом текста.

Использование повествования в функции рассуждения приводит к возникновению притчи: концепция (идея) как психологическое содержание рассуждения замещается событием. Рассмотрим притчу дзэн-буддизма «Чашка чая» (Буддизм, 1999, с.244 – 245): Нан-ин, японский учитель дзэн, живший в эпоху Мэйдзи (1868 – 1912 гг.), принимал у себя университетского профессора, пришедшего узнать, что такое дзэн. Нан-ин пригласил его к чаю. Он налил гостю чашку доверху и продолжал лить дальше. Профессор следил за тем, как переполняется чашка, и наконец не выдержал: «Она же переполнена. Больше уже не войдет». «Так же, как эта чашка, – сказал Нан-ин, – Вы полны Ваших собственных мнений и размышлений. Как же я смогу показать Вам дзэн, если Вы сначала не опустошили Вашу чашу?» Общепринятая идея о том, что наше восприятие пристрастно и определяется сложившейся системой ценностей и убеждений, во-

площена в событии: деятелем выступает японский учитель дзен, совершающий простое действие, которому придается символический смысл.

Использование повествования в функции описания диалогизирует и «драматизирует» текст. Это часто применяют в политическом, рекламном, учебном дискурсе: событие воплощает атрибуты объекта описания. В качестве примера приведем начало статьи «Моддинг для чайников» из журнала «Хакер» (№ 43 за июнь 2002 г.): Эта статья своего рода путеводитель, здесь не будет полноценных руководств по моддингу, зато посмотришь, что можно в принципе сделать со своим унылым компом, узнаешь некоторые специфические моддерские сленговые словечки, которые тебе не раз встретятся в статьях из Инета, и найдешь ссылки на те самые полноценные руководства. Описание содержания статьи по воле авторов превращается в диалог, в котором читатель выступает деятелем (посмотрит, узнает, найдет), а знакомство с журналом становится событием.

Таким образом, повествование, выполняя «чужие» дискурсивные функции, может выражать целый спектр речевых интенций. При этом ситуация-тема (событие) остается константной, а параметры ситуации общения – включая жанрообразующий признак речевое намерение – варьируют.

3.1.2. Базовые признаки повествования наиболее четко описаны в теории нарративов. Для повествования определены четыре основных компонента: агентивность, линейность

или линеаризация, чувствительность к нормам и традициям взаимодействия людей, «голос» рассказчика или перспектива повествования (*Bruner, 1990*). Агентивность подразумевает, что агенты выполняют и контролируют действия, направленные на достижение целей. Линейность проявляется в линейной упорядоченности событий и состояний. Чувствительность к нормам поведения существенна, поскольку представленная в конкретном повествовании сцена соотносится с событием как когнитивной единицей, т.е. инвариантом сцен. В чувствительности к нормам проявляется оценочный аспект повествования: нормы и традиции задают систему оценок действий агентов. Наконец, повествование всегда отражает одну из возможных точек зрения на события – точку зрения рассказчика или одного из агентов.

3.1.3. В дискурсе повествование представлено рядом вариантов. При дискурсивном анализе повествования грани между типом текста и речевым жанром стираются, поскольку дискурсивные варианты нарратива отличаются не столько текстовыми, сколько коммуникативными параметрами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.